

Редакция публикует ещё один материал из серии описаний московского быта XIX — начала XX века, подготовленной историками В. Ругой и А. Кокоревым

ВЛАДИМИР РУГА, АНДРЕЙ КОКОРЕВ

БАРЫШНИ

Слово “барышня” в дореволюционной России служило для обращения к девочкам и девушкам из так называемых “достаточных классов”. В семьях дворянских, разночинной интеллигенции, лиц “свободных профессий” (адвокатов, архитекторов, художников и т. д.), а с конца XIX века — и в купеческих молодых девушек называли барышнями. Они росли под присмотром родителей либо в каком-нибудь учебном заведении и, получая образование, готовилась к самостоятельной жизни.

Основы знаний девочки получали в семье, а их первыми учителями, как правило, были мамы. Ребёнок, обладавший способностями, даже при таком простом обучении мог достичь значительных результатов. Мемуаристка Н. Я. Серпинская отмечала:

“К восьми годам я играла на рояле, писала без ошибок по-русски и по-французски, прочла тайком Золя, Мопассана, Толстого, Тургенева”.

Что же касается обучения девочек в различных учебных заведениях, то это зависело от социального положения родителей и их взглядов на женское образование. Так, для дворянок из аристократических семей в Москве с начала XIX века действовало Московское училище ордена св. Екатерины (Екатерининский институт благородных девиц). При нём было Мещанское отделение, преобразованное в 1892 году в Александровский институт для немущих дворян и разночинцев.

Это были заведения закрытого типа, то есть ученицы жили в стенах институтов и постоянно находились под присмотром классных дам. Поскольку институты были казёнными учреждениями, то воспитанницы жили в настоящих спартанских условиях. Для А. Н. Энгельгард годы учёбы были связаны с подлинными страданиями:

“Я росла (...) вечно голодная в самом буквальном физическом смысле этого слова. Я часто плакала от голода, только от голода, нестерпимого, больно рвущего все внутренности голода. Ощущения голодного человека мне вполне понятны. Я по целым годам никогда не была сыта, и от недостатка питания у меня, при моём железном организме, было самое хилое, самое чахлое детство. Я не росла все время, пока находилась в институте, и вечно была больна”.

В институтскую программу обучения входили русский и иностранные языки, история, география, музыка, танцы и рукоделие, но от барышень, в первую очередь, требовали демонстрации приличных манер. Характерные слова вложила А. А. Комарова в уста героини своего романа “Одна из многих”:

“Итак, я вышла из института с весьма малыми познаниями, но с очень большими претензиями. Я воображала себя совсем готовою преобразовать мир и вообще совершить что-либо великое, а между тем не сумела бы выучить грамоте ни одного ребёнка”.

Для “институток” самым оптимальным было скорое замужество, но для этого необходимо было либо иметь хорошее приданое, либо обладать родственными связями в высших сферах. При других вариантах девушка не могла рассчитывать на семейное счастье. Если никто из родственников не поддерживал её материально, то ей приходилось поступать в гувернантки или домашние учительницы.

Упомянутая нами героиня романа “Одна из многих” получала средства от государства: “... прибавилось около трехсот рублей папенькиного пенсионера, который выхлопотал мне один мой родственник и который мне выдали за десять лет институтской жизни; кроме того, ежегодно до совершеннолетия я должна была получать небольшую сумму из государственного казначейства”.

Не испытывая нужды, девушка всё своё время посвящала участию в домашних собраниях интеллигенции, где обсуждались вопросы переустройства общества. Однажды заседание кружка затянулось до глубокой ночи, и барышня согласилась переночевать в доме своего духовного учителя:

– Вы хотите спать? – спросил он меня.

– Нет, – отвечала я.

– Будемте читать лекции Фейербаха о сущности религии?

– Будемте.

Он пошёл в свой кабинет и принёс мелко исписанную тетрадку.

Началось чтение. Я понимала весьма плохо тяжёлый язык перевода. Вдруг С—ь положил рукопись на стол и, подвинувшись ко мне, обнял меня за талию. Я хотела оттолкнуть его, но стыд и любопытство превозмогли. Он начал ласкать и страстно целовать меня. Я сидела неподвижно, как мумия. В голове моей шумело, и я смутно понимала, что со мною делалось.

Чрез мгновение свеча упала и потухла... я громко вскрикнула...”

В романе “Одна из многих” показан новый для русского общества тип барышни, получивший наименование “нигилистка”. В этих девушках вызовом общественному вкусу было всё, начиная от внешнего вида – коротко стриженные волосы, нарочитая неряшливость в одежде – и заканчивая пренебрежением к правилам хорошего тона. В статье “Русская студентка” С. Сватиков описал отличительные черты девушек, отправившихся в трудный поход за знаниями:

“Самый внешний вид девушек, желавших учиться и работать, был не похож на обычную внешность “барышни”, предназначенной к выдаче замуж. Некогда было делать причёски, да ещё согласно меняющимся модам; нелепыми “мыслящей женщине” казались кринолины на обручах. Молодые девушки носили круглые шляпы – гарибальдийки, простые гладкие юбки, скромные кофточки. Некоторые курили, то ли во имя равенства с мужчиной, то ли готовясь к работе над трупами в анатомическом театре. Другие носили очки. И очки, и стриженные волосы, и костюм – всё это вызывало злопахательство реакции. Какой-то старец выпустил памфлет в стихах и укорял “нигилистку”:

*Ты обрезала чудную косу,
Косу, роскошь заветную, прочь...
И очки ты приставила к носу,
Как Мартышка Крылова точь-в-точь!..*

После покушения студента Каракозова на Александра II многие нигилисты попали под надзор правоохранительных органов. А Москве и Нижнем Новгороде полиция провела настоящую охоту на барышень экзотического вида. Их доставляли в полицейские части, где требовали дать подписку, что они будут одеваться по моде. Тем, кто отказывался, вручали “жёлтые билеты”, то есть записывали в профессиональные проститутки. Правда, высшее начальство довольно скоро отменило эту инициативу.

В действии полицейских был явный перегиб, но они исходили из определённой логики. По общему мнению, нигилистки отличались и вольностью в отношениях с мужчинами. В Москве таких барышень иронически называли “полудевственницами”.

В эту категорию после ночного изучения классической немецкой философии попала и героиня романа А. А. Комаровой, откровенно сообщавшая знакомым, что живёт в “гражданском браке”. В то время (60–90-е годы XIX века) это означало, что девица сожительствует с мужчиной без официального венчания

в церкви. Лёгкость, с которой образовывался любовный союз, имела обратную сторону: он столь же быстро распадался. Так и “одна из многих”, родив внебрачного ребёнка, была оставлена “мужем”, и ей пришлось перебраться в Санкт-Петербург. Там, в отличие от Москвы, существовали настоящие молодёжные коммуны, созданные в соответствии с идеями Н. Г. Чернышевского:

“Вежливое обращение с дамами почиталось первейшим признаком отсталости; мужчины наши были не только грубы, но до крайности циничны с нами. В нашем присутствии говорились такие вещи, от которых у всякой порядочной женщины волосы встали бы дыбом. О любви и о культе женщины не было и помина, всё сводилось на здоровое удовлетворение половой потребности. (...) Грязь и неопрятность возводились в принцип.

По вечерам в коммуне можно было видеть, например, такую картину: сидят вокруг пачки листов вновь полученной из типографии книги человек шесть-семь коммунистов и коммунисток и сообща занимаются охотой на голowego зверя... (...)

День в коммуне проходил больше в рассуждениях о труде, в приготовлениях к деятельности и т. п. Лежа на постели в одном белье, коммунисты распевали: “Слава честному труду!”

Барышни-“нигилистки” в силу своего своеобразного облика и вызывающего поведения встречали в обществе практически единодушное осуждение. Подлаживаясь под вкус публики, юмористы старательно высмеивали “стриженных девиц”. Вот, например, как в начале 70-х годов XIX века журнал “Будильник” поздравил их с праздником Пасхи:

*Не стриги своих кудряшек,
Не сиди в углу угрюмой,
Пой, танцуй, гуляй побольше,
О науках же не думай!
Книги — зло, в них много яду!
Ты ж летами невеличка,
Не тверда ещё в рассудке —
Это первое яичко.*

*Родилась ты не мужчиной,
Что ж, по-моему, отлично!
О правах мужских девице
Даже думать неприлично.
Тем же, кто о них мечтает,
Уж дана другая кличка...
Бойся, Надя, мненья света! —
Вот тебе ещё яичко.*

Однако отлучить барышень от книг и от образования уже не было никакой возможности. В эпоху реформ Александра II происходили необратимые изменения. Так, в 1862 году в Москве Ведомством учреждений императрицы Марии была открыта первая государственная женская гимназия. Со временем их стало семь. Обучение в женских гимназиях длилось семь лет. Ученицы, получившие высокие оценки, имели возможность окончить 8-й (педагогический) класс, что давало им право работать учительницами в начальных школах и городских училищах.

Кроме государственных, открывались частные женские гимназии. К началу XX века их насчитывалось около сорока. В некоторых из них программа преподавания соответствовала классическим мужским, что в принципе давало выпускницам право поступать в высшие учебные заведения. В других, как, например, в гимназии Потоцкой, где училась Анастасия Цветаева, была особая творческая атмосфера:

“Гимназия, куда я с третьего класса вступила, была первой моей русской школой. Мне не с чем было её сравнить. Как я жалею теперь, что по молодости не отдавала себе ясного отчёта о том месте, какое занимала либеральная гимназия Потоцкой среди московских средних учебных заведений, и не осознала всех её особенностей для моего будущего. Из класса в класс экзаменов у нас не было, отметок не ставили, чтобы не ради них, а ради знания учи-

лись учащиеся, отметки об успеваемости учителя делали у себя. На все эти нововведения начальство косилось, и выпускные экзамены в нашей гимназии происходили в присутствии представителей учебного округа, которые к выпускницам придирались. В гимназии Потоцкой была широко развита самодеятельность, каждый класс в содружестве с учителями устраивал вечера: один класс – вечер Древней Греции, другой – вечер Средневековья, третий – из эпохи Древнего Египта; пьесы для этих вечеров писали учителя, ученицы разыгрывали их. Ставились отрывки из Фонвизина, сцены из “Горя от ума”. Но, может быть, не только на выпускных экзаменах проявлялся недоброжелательный интерес свыше к оппозиционным настроениям нашей гимназии. Слишком резко порядки её и обычаи отличались от другого, правительственного типа гимназий”.

Затем сёстры Цветаевы вместе учились в частной гимназии Брюхоненко. Там были не столь либеральные порядки, как в гимназии Потоцкой, но отношение к барышням со стороны преподавателей всегда было доброжелательным. “Держала”, как тогда говорили, выпускные экзамены Анастасия без должной сосредоточенности:

“Я сдала географию на четвёрку! Позорно... Не успела перечесть весь раздел “Малороссия”, только один! Зато остальные знала отлично. Назубок выучила учебник, ходя взад-вперед между тополями и акациями двора. Ну, не она же мне непременно достанется! И досталась – она! Мне пришлось попросить разрешения переменить билет. Огорчённый учитель: “Вы – переменить билет? Но я же не смогу поставить вам пять...” Я блестяще ответила про Финляндию – и получила четыре.

(...)

По пути на экзамен по химии я выучила, на извозчике, сорок восемь формул, почти незнакомых. Из них меня спросили две: воду и серную кислоту”.

Столь легкомысленное отношение к экзаменам объясняется тем, что как раз в тот момент юная барышня влюбилась и всё свободное время проводила со своим поклонником.

Вообще же интерес к юношам у гимназисток старших классов проявлялся гораздо раньше. Н. Я. Серпинская вспоминала о своих одноклассниках, вступивших в тринадцатилетний возраст:

“В гимназии Ржевской в этот сезон все девочки явно разделились на два лагеря: “пустых” и “серьёзных”. “Пустые” продолжали завивать кончики кос и завязывать пышнее, как квадратные маки, банты, душиться, шептаться о гимназистах и кадетях, встречаемых на вечерах, или затевать флирты с “клеймановцами” из расположенной напротив мужской гимназии Клеймана.

“Пустые” составляли большинство. Нас, “серьёзных”, со смешками называли книжными крысами, карандашными огрызками, просто дурами”.

Но спустя два года юная Нина Серпинская совершила поступок, на который решилась бы далеко не каждая из “пустых”:

“Однажды, при нашем выходе из гимназии, какой-то паренёк всунул мне записку в ранец и пошёл дальше, как ни в чём не бывало.

В записке стояло: “Ниночка, на углу Садовой будет стоять “дутик” с поднятым верхом – не обращая на себя внимания, вскочите в него! Там буду я – всё объясню”.

По всем правилам опытной конспираторши, я болтала с подругами, постепенно незаметно отставая. Спряталась во двор и минут пять опять вышла, не рискуя натолкнуться на гимназисток. Сильные руки подняли меня в пролётку. Пахнущие коньяком губы прижались к щеке.

– Молодец, Ниночка. Понимаете, я скрываюсь, мне некуда деться, приходится ездить по отдельным кабинетам. Одному для полиции подозрительно, надо с дамой! А кто же, кроме вас, подходит, кому можно абсолютно довериться?”

“Дутик” – это легковая пролётка на пневматических шинах, а поджидал в ней девочку студент из числа революционеров-подпольщиков. Летом он жил на даче Серпинских в качестве репетитора. Чтобы добыть деньги на “святое дело освобождения рабочего класса”, он убил и ограбил богатую тётку Нины. Соучастницей преступления оказалась мать Серпинской. Она находилась под следствием, поэтому “борец за народное счастье” решил использовать дочь. И что характерно, девочка оказалась счастлива почувствовать себя по-настоящему взрослой:

“Ура!!! Я – “дама”! Я попаду в ресторан! Я чуть не захлопала в ладоши, забыв мрачные и тревожные мысли последнего времени.

– Иван Иванович, а как же фартук?

– Ну, пустяки: гимназистка, и всё. В общий зал нельзя, а в кабинет можно!”

Студент, видимо, хорошо знал нравы, царившие в развлекательных заведениях Москвы. Господа без помех приводили в отдельные кабинеты ресторанов и номера бань проституток, одевавшихся гимназистками, или, что вполне возможно, и настоящих гимназисток, подобных Нине. Действительно, в загородный ресторан столь заметная парочка попала без малейших препятствий:

“Мы ехали долго по Петровскому парку, очевидно, до “Стрельны”. Не раздевая, нас провели в большую комнату со стенными зеркалами, с бархатными диванами и накрытым столом, выходящую широким пролётом в общий зал; пальмы скрывали от нас людей, но я могла рассмотреть сцену, на которой розовыми брызгами вокруг розовых ног взметались юбки. (...)

От бокала вина всё показалось легко и просто. После ликёров сцена закачалась, как палуба парохода. Уехали мы, когда совсем рассвело. У меня к внутренней стороне чёрного фартука была приколота записка, которую надлежало совершенно “тайно” передать маме при её возвращении из Казани.

Прочтя записку, мама взволнованно покраснела: “Где ты её взяла?”

Припёртая к стене, я вынуждена была сознаться, тем более что молоденькая горничная Настя доложила барыне, что “без них барышня Нина ночью пропадали”.

– Негодяй, подлец, – забормотала мама. – За девочку принялся!”

Родители переживали напрасно: в ту ночь с юной гимназисткой ничего фатального не произошло. Зато примерно год спустя, когда мать приговорили к тюремному заключению, а отец умер, девушка, преобразившись, вошла мир московской богемы:

“Выглядела я, в огромной чёрной шляпе и чёрном костюме “директуар” – первом костюме, сшитом по своему вкусу, – элегантно зазывающей куртизанкой, совсем не похожей на девушку в коричневом платье за гимназической партой”.

Впрочем, такое поведение было из ряда вон выходящим, поскольку девушка оказалась предоставлена самой себе. Все её одноклассницы находились в полном подчинении родных и близких:

“Гимназические подруги, сами неопытные и незрелые, все состояли при родителях или старших”.

Наивность гимназисток старших классов в области отношений между мужчинами и женщинами – примета эпохи. Порой только случайный разговор позволял девушке узнать реальную сторону жизни. Вот весьма показательное свидетельство – записи из дневника “купеческой дочери” Е. А. Дьяконовой, сделанные ею в юности:

“Сегодня мне П-ская объяснила всё для меня непонятное, и я впервые в жизни узнала столько гадости и мерзости, что сама ужаснулась. Она мне объяснила смысл слов “изнасиловать”, “фиктивный брак”, “проституция”, “дом терпимости”... Это ужасно мерзко, отвратительно... Так вот в чём состоит любовь, так воспеваемая поэтами! Ведь после того, что я узнала, любовь – самое низкое чувство, если так его понимаю... Неужели Бог так устроил мир, что иначе не может продолжаться род человеческий...”

Моральное потрясение, испытанное выпускницей гимназии, оказалось очень сильным, но она, по крайней мере, получила хоть какое-то реальное представление о взрослой жизни. А вот её сестра, собираясь выйти замуж, пребывала в абсолютном неведении:

“Сестра сказала мне, что ей едва ли придётся поступить на курсы, потому что В. будет её мужем. Так как я была убеждена, что их брак будет на время фиктивным, то я с удивлением спросила её: “Почему ты так думаешь?” – “Это же видно из его письма: он пишет о поцелуях”... – “Ну, так что ж? Он хочет сделать тебя своею женою”, – спокойно заметила я. “Как? Да неужели же ты не знаешь, что это и есть настоящий брак? Разве ты не понимаешь, что если он будет меня целовать, то это и значит, что мы сделаемся настоящими мужем и женою”... Широко раскрыв глаза и не веря своим ушам, слушаю я Валю. 18-летняя девочка, читавшая все прелести Золя, Мопассана и других, им

подобных, “Крейцерову сонату”, горячо рассуждавшая о нравственности и уверявшая меня, что она уже давно “всё знает”, эта девушка, дав слово В., не знала... что такое брак! Иногда я заговаривала с ней по поводу читаемых романов, и моя сестрица всегда так горячо и авторитетно рассуждала, так свободно употребляла слова, относящиеся к самой сути дела, что мне и в голову не могла придти подобная мысль. И вдруг, случайно, почти накануне свадьбы, я узнаю от неё, что она ещё невинный младенец, что она... не понимает и не знает ничего! “Валя, послушай, ну, вот мы с тобой читали, иногда говорили об этом... Как же ты понимаешь?” — “Конечно, так, что они целуются... от этого рождаются дети, точно ты не знаешь”, — даже с досадой ответила сестра. Я улыбнулась. “Что же ты смеёшься? Разве есть ещё что-нибудь? Разве это не всё? Мне одна мысль о поцелуях противна, а вот ты смеёшься. Какую же гадость ты ещё знаешь?” — с недоумением спрашивала Валя...

Каково было моё положение! Кто мог предполагать, что Валя, читая, не понимала самой сущности, даже не подозревала о ней. Впрочем, она не читала никаких медицинских книг, сказок Боккаччо, где с таким наивным цинизмом описывается то, что теперь даже Золя и Мопассан заменяют многоточием, и, сообразив по-своему, думала, что узнала “всё”, и рассуждала о браке весьма свободно. Таким образом, выходя замуж, сестра была похожа на овцу, которая не знает, что её через несколько времени заколют. Я слыхала и раньше, что ужаснее этого нет ничего...

Вечером пришла к нам Маня, и я, мучаясь всеми этими соображениями, жалея о наивности сестры, спросила её совета. Она прямо сказала мне, что я должна, как старшая сестра, заменить ей мать. И вот, смущаясь и стыдясь того, о чём должна буду говорить, злясь на самое себя, одним словом, в скверном, нерешительном состоянии, я усадила Валю подле себя и тихо-тихо объяснила ей всё. Валя была поражена... Перед ней отдёрнули занавесь жизни и, смутно соображая, она поняла. В первую минуту для неё это было невероятно, полно ужаса и отвращения...

В отличие от сестры, мечтавшей о замужестве, Е. Дьякова стремилась получить высшее образование:

“Наконец, решу сказать здесь мою заветную мечту, мою единственную тайну. До этого года я думала по совершеннолетию поступить на курсы, но мысль о потерянных годах заставляет меня поступить в один из швейцарских университетов. Какие знания нужны для этого, какие требования и формальности — ничего не знаю, я иду ощупью, на авось, с отчаянной смелостью слепого... Что-то будет? А пока в ожидании занимаюсь. Вот эта мысль — источник моего существования. Передо мной есть звезда, и я к ней иду... О, моё счастье! когда нужно, приходи ко мне!...”

Мечты Елизаветы Дьяковой о поступлении в заграничный университет разбились о реальность. Она узнала, что в Швейцарии из ста женщин, поступивших учиться, только две получили учёную степень; остальные по разным причинам, в том числе из-за материальных трудностей, учёбу бросили, а некоторые даже умерли.

Для Е. Дьяковой ситуация осложнялась тем, что в купеческой среде, где она росла, стремление девушки к учёбе считалось блажью. Заметим, что в окружении Е. Дьяковой учёба на Высших курсах не только считалась не нужным для девицы занятием. Последним аргументом, которым мама Елизаветы попыталась её остановить, были слова: “Если хочешь стать женщиной известного поведения, то езжай!”

Именно таким было мнение обывателей: поступление в “курсистки” сродни уходу на панель. И это несмотря на то, что учащиеся барышни находились под постоянным присмотром блюстителей нравственности! Первым наборам “курсисток” было просто запрещено встречаться с молодыми людьми. В Петербурге много шума наделал случай, когда брат с сестрой тепло попрощались перед входом учебное заведение: в этой истории разбирался лично министр просвещения!

Масла в огонь подливали выступления в печати яростных противников женского образования. Так, известный юрист профессор П. П. Цитович обвинил писателей-демократов в формировании поколения безнравственных девиц:

“Вы развратили её ум и растлили её сердце. В этом уме была игривость — из неё сделали блудливость; в этом сердце было увлечение — его превратили в похоть. Она была способна на жертву — из неё сделали искательницу

приключений; она живо соображала – её научили бредить. Полюбуйтесь на неё: мужская шапка, мужской плащ, грязные юбки, оборванное платье, бронзовый или зеленоватый цвет лица, подбородок вперёд, в мутных глазах всё: бесцельность, усталость, злоба, ненависть, запустение... По наружному виду – какой-то гермафродит, по нутру – подлинная дочь Каина... Она остригла волосы, и не напрасно: её мать так метила своих “гапок” и “палашек” за “грех”...

По убеждению почтенного профессора, совместное обучение медицине юношей и девушек на деле означало свободную любовь: “После обработки анатомического препарата сообща обыкновенно происходило “срывание созревшего плода”.

Запредельные пассажи Цитовича вызвали такое всеобщее возмущение, что даже министр просвещения граф Д. А. Толстой заступился за курсисток.

Действительно, трудно представить, что наивная барышня, страстно мечтавшая об учёбе, поступив на курсы, тут же кинется, как говорится, во все тяжкие, даже если её проживание в отчем доме, как и у Елизаветы Дьяковой, не вызывало ничего, кроме уныния: “...действительная жизнь так однообразна, так притупляюще действует на нервы, что возможно сойти с ума, не находя себе удовлетворения... Я теперь изучаю немецкую и французскую литературу, играю сонаты Бетховена, читаю Гёте и Белинского, учусь латыни, занимаюсь рукоделием, хожу за обедню, за всенощную. И только? и больше ничего? Так знайте же, ни-че-го! И это называется “жизнью”... Порой на меня находит дикая злоба: я недовольна тем, что родилась женщиной...”

Е. А. Дьякова, дождавшись совершеннолетия, осуществила свою мечту. Преодолев сопротивление матери, она поступила на Высшие женские курсы в Петербурге, но в дневнике дала Москве интересную характеристику:

“То ли дело Москва! Там человек незаметно исчезает в общей массе, он может жить спокойно, занимаясь, чем хочет, одеваясь как угодно, думать, как хочет, вообще – жить своей жизнью, не заботясь о мнении других, и если он не знаменитость, о нём никто не заговорит, его не заметят. Я испытала это удобство: быть незаметной, невозможное в провинции...”

В Москве женское образование началось с открытия в 1869 году так называемых “Лубянских курсов”. Сначала программа обучения на них соответствовала мужским гимназиям, но вскоре её удалось приблизить к физико-математическому факультету университета. Слушательницы первого набора (190 человек) на совместном собрании решили, что будут именоваться “курсистками”.

На открывшихся три года спустя Курсах профессора Герье преподавали и естественные науки, но это заведение с самого начала приобрело характер историко-филологического факультета. Если в первый год у Герье учились 70 девушек, то в 1884–1885 годах их насчитывалось уже более двух с половиной сотен. Профессор Герье требовал от поступающих к нему слушательниц материальной обеспеченности, поскольку считал, что барышни не могут сочетать добывание средств на жизнь и успешную учёбу.

Во время правительственных гонений на образование в конце 1880-х годов и курсы Герье, и Лубянские курсы были закрыты. Последним удалось передать имущество и деньги Обществу воспитательниц и учительниц, поэтому около 1000 слушательниц смогли учиться на естественно-математическом и литературно-историческом отделениях.

Курсы Герье возобновили работу в 1900 году, а после революции 1905 года женщины получили право поступать в университеты вольнослушательницами. С того же времени барышни смогли осваивать новые для себя профессии на Голицынских высших сельскохозяйственных женских курсах.

В 1866 году в Москве для женщин, мечтавших посвятить себя музыке, произошло важнейшее событие: была открыта Консерватория. Первоначально обучение в ней длилось шесть лет, а с 1879 года составило девять лет. “Консерваторками” называли барышень, получавших высшее музыкальное образование. Одна из них стала героиней очерка, опубликованного в журнале “Развлечение”:

“Экзаменатор встретил её довольно сурово. Он не выспался, сюртук его был испачкан мелом после ночи в клубе, где ему страшно не везло.

– Ну, что вам? – спросил он.

Барышня объяснила ему, что пришла экзаменоваться. Он потрянул головой, показал рукой на рояль и бросил одно только слово:

– Играйте!

Она заиграла, сначала робко, затем с постепенно разгоравшимся одушевлением и даже с непривычным ей огоньком. Когда она кончила и обернулась, то увидела, что экзаменатор стоит и смотрит в окно. Она двинула стулом. Он обернулся, и по лицу его пробежала злая улыбка:

– Разве это игра? Вы точно шваброй по роялю возите!.. Вам, матушка, леденцы сосать, а не пианисткой быть!.. – и, заметив на лице барышни выражение, близкое к отчаянию, заметил уже снисходительнее: – А впрочем, всё равно поступайте!

И юный талант вот уже который год сидит в мебелированной комнате, играет целыми днями на рояле и подвигается весьма туго. Она видит, что её обгоняют многие, других знают уже в городе, и с ещё большим отчаянием она бьёт по клавишам. Розы со щёк исчезли, катар желудка даёт себя чувствовать, мечты пропали, и она думает уже не о концертах и лаврах, а о цели, более доступной, – о дипломе”.

Описывая русских студентов, С. Сватиков отметил появление среди них новой, особой категории:

“В 90-х годах девиц из богатых семей, в модных платьях, причёсках и шляпах, звали насмешливо “кордебалетом”. Политически неопределённый, скорее реакционный, “кордебалет” редко посещал лекции, но in corpore являлся на сходы срывать забастовку и резолюцию протеста. Затем “кордебалет” превратился в отделение академического союза. (...) Мирный академизм сделал прочные завоевания в среде женской молодёжи”.

“Академистами” называли студентов, занимавшихся, главным образом, учёбой и не принимавших участие в революционной борьбе. Что касается девушек, то их сосредоточенность на занятиях вполне объяснима. В литературных произведениях, где описывалась жизнь курсисток, непременно подчёркивалась их предельная загруженность учёбой. Если по каким-либо причинам курсистка накапливала задолженности, то её могли просто отчислить. Из всех развлечений в редкие часы досуга – поход в театр или в “электричку” (так молодёжь называла синематограф, именуемый в то время ещё и “электротеатром”).

Окончив высшие учебные заведения, девушки могли рассчитывать максимум на место учительницы начального городского училища. Да и то, кроме диплома, как отмечала в 1914 году газета “Голос Москвы”, необходимо было иметь протекцию, знакомство или родство с влиятельными лицами. И женщин брали на эту работу, потому что не находилось мужчин, согласных получать 40–60 рублей в месяц.

За столь невеликое жалование учительнице приходилось вставать в 7 часов утра и на протяжении восьми часов возиться с пятьюдесятью мальчиками или девочками. Кроме проведения уроков, учительница должна была приучать их к опрятности, заставлять мыться и т. д. Вечером – проверка тетрадей и подготовка к урокам. Зачастую к нервной нагрузке от преподавания добавлялись домашние неурядицы. Барышень при размещении в полагавшиеся им казённые квартиры селили в комнаты по двое. Если невольные соседки не сходились характерами, то ссоры между ними не прекращались.

Анализируя положение барышень, получивших высшее образование, “Журнал для хозяек” в 1913 году писал:

“Какую подготовку и к какому труду дают наши средние и даже высшие женские школы, гимназии, институты, Бестужевские курсы, историко-филологические и т. п.?”

Да никакой.

Все эти школы дают только общее образование, они лишь облегчают возможность подготовиться к какому-нибудь труду, но сами не дают никакой специальности, никакой профессиональной подготовки, никакого права заявить себя подготовленной к той или другой определённой работе”.

По мнению автора статьи, новый уровень развития капитализма в России изменил условия на рынке труда. В начале XX века экономическая система потребовала большого количества специалистов, из чего следовал простой вывод:

“России нужны низшие и средние профессиональные женские школы!

Нужны школы, которые выпускали бы женщин, подготовленных к определённому, специальному труду, спрос на который имеется в жизни, а не женщин, имеющих только общее развитие и не умеющих приложить свои силы ни к какой практической деятельности!”

Интересны практические рекомендации, обращённые к матерям, желавшим наилучшим образом устроить жизнь своих дочерей:

“А пока “улита едет”, пока “наверху” додумаются до необходимости создания женских профессиональных школ, мы хотим предостеречь матерей от увлечения общим образованием. Мы хотим сказать им: не старайтесь во что бы то ни стало, чтобы ваши дочери кончали курс в гимназиях, институтах и на высших общеобразовательных курсах. Дипломы и подготовка, даваемые этими школами, не дадут никакого оружия вашим дочерям для борьбы с жизнью. Теперь хорошая шляпница и хорошая модистка зарабатывает гораздо больше женщины, кончившей высшую школу и не имеющей специальной подготовки к какой-нибудь определённой работе.

Не заботьтесь же об окончании этих школ, заботьтесь о практической подготовке ваших дочерей к жизни и к труду.

Дайте им какую-нибудь профессию, какую-нибудь специальность.

С практической точки зрения лучше окончить лишь прогимназию, но знать хорошо иностранные языки и бухгалтерию, чем окончить историко-филологические курсы.

Лучше, окончив 7 классов гимназии, изучить шляпное или портновское дело, нежели прибавить и 8-й класс. Лучше быть хорошей чертёжницей или закройщицей, нежели “имеющей права домашней учительницы”.

Общее образование есть роскошь. Оно, как и всякая другая роскошь, в капиталистическом строе доступно лишь людям состоятельным. Людям же небогатым, принуждённым жить продажей своего труда, следует твёрдо помнить, что кусок хлеба обеспечивает не общее, хотя бы и самое широкое образование, а хорошее практическое знание какой-нибудь, хотя бы самой узкой и мало интеллигентной специальности.

И женщинам, выбрасываемым изменившимися условиями жизни на путь самостоятельного труда, нужно не упускать из виду этот закон”.

Конечно, это был очень хороший совет, да только в ту эпоху, кроме здравого смысла, существовала ещё и сословная гордость, порой переходившая в спесь. Именно она не позволяла родителям из обедневших дворян приучать дочерей к “неблагородному” труду. Авторы книги “Светский хороший тон” отмечали весьма распространённое явление: “... во многих аристократических семействах считается верхом неприличия для девушек (...) уметь готовить кушанье или шить бельё”.

Результатом такого воспитания были вполне типичные для Москвы барышни, подобные одной из героинь романа А. М. Пазухина “Медовый месяц”:

“Дочь бедного чиновника, получающего гроши, но подавленного своим “благородством” и чином титулярного советника, а потому не желающего брать какую-нибудь “неблагородную” работу, девочка росла в нищете, но её не приучали ни к какой работе и готовили, как “благородную барышню”, в гимназию, мечтая, что после этой гимназии высокообразованная Верочка непременно составит себе партию и выведет родителей из нищеты и неизвестности. Нашли какого-то “благодетеля”, который поместил девочку в гимназию на свой счёт. Благодетель платил за ученье Веры года три, а потом проигрался в карты, разорился и сам поступил на содержание богатых и знатных родственников. Вера и до этого события училась кое-как, в самой неблагоприятной для ученья домашней обстановке, а теперь пришлось гимназию оставить и готовиться в следующий класс до отыскания какого-нибудь нового благодетеля. Благодетеля не нашлось, а время шло да шло. Изнемогающая на работе мать не допускала Верочку ни до какого чёрного труда, как “барышню”, и барышня с утра до ночи читала глупейшие и развращающие переводные романы о похождениях разных небывалых маркизов, графов и герцогов да вышивала ни на что не нужные коврики с бабочками; в учебники она заглядывала редко, а потом и совсем бросила их, так как надежда на благодетеля совершенно пропала, да и время поступить опять в гимназию прошло.

“Образование”, полученное чтением диких романов, сделало своё дело, потом явились на помощь дачные балы, любительские спектакли, а тут подвернулся украшенный брильянтами и имеющий возможность поить шампанским Василий Еремеевич, который обратил внимание на хорошенькую, как фарфоровая куколка, Верочку...

Были, конечно, речи о женитьбе, были посулы, а кончилось всё так, как всегда кончается в подобных случаях”.

В итоге юной матери, брошенной любовником и проклятой родителями, пришлось забыть о своём дворянском происхождении. Для добычи хлеба насущного она обзавелась машинкой и стали шить для больницы простыни по две копейки за штуку.

По воле романиста, помощь падшей девице оказала барышня другого типа. Она не училась ни в гимназии, ни на курсах, не была сторонницей свободы нравов, а просто выросла в патриархальной купеческой семье:

“Стройная, грациозная блондинка с синими глазами и тёмными бровями, она была чудо как хороша; некоторая полнота не портила её при красивом росте, а девичья скромность, милая застенчивость красили её, как и та нежность, которую обладают лишь купеческие дочери, взращённые, как цветочек, оберегаемые и от “дурного глаза”, и от жары, и от мороза, вскормленные булочками, вспоенные сливочками, воспитанные на пуховиках под атласными одеялами; такими, вероятно, были наши боярышни; такую, вероятно, была Елена Морозова, за которую погиб и сложил голову лихой опричник князь Вяземский, за которую ушёл с понизовою вольницей благородный и высокородный князь Серебряный...”

Таких девушек многие поклонники женской эмансипации, поклонники беспардонной отчаянности и ухарства, считают “недалёкими”, но они ошибаются. Такие чисто русские девушки обладают часто светлым умом, который помогает постичь им глубокую житейскую мудрость, а душа у них почти всегда благородная, кристально чистая, сердце доброе, переполненное любовью”.

На фоне “прогрессивных барышень” Полю с её целомудрием можно считать представительницей “дремучего невежества”, которым славилось замоскворецкое купечество. Но действие романа происходит в преддверии XX века, нравы и в среде капиталистов значительно изменились, а у девушки даже такие привычные явления, как велосипедная езда и флирт с мужчинами, вызывают отторжение:

— Я на велосипеде всё лето ездила, Поленька, только ты мамаше не говори...

— На велосипеде?

— Да. У меня кавалером был один инженер, очень хорошенький, чудо какой!.. А какой у меня костюм для велосипеда!.. Тёмно-синяя жакетка, вот так, до сих пор, а здесь открытые лацканы и под ними жилет; панталоны тоже тёмно-синие, тёмно-синие чулки и золотистые туфли, а на голове шляпка “Нансен”, серая, с синим пером...

Поленька слушала сестру и с любопытством смотрела на неё, как на жительницу какой-нибудь другой планеты. (...) Ей думалось, что надо потерять стыд для того, чтобы одеться в мужское или полумужское платье и сесть верхом на колесо, и ехать на этом колесе, не имея для этого нужды, и вот её сестра, её милая Толя, которую она считает за очень умную и даже за образованную женщину, ездит на велосипеде и восторгается этим.

Что же это такое?.. Неужели это так нужно? Неужели все умные и образованные женщины так думают и подступают?..”

Почему у Поленьки такое странное отношение к поездкам на велосипеде? Что зазорного в том, что девушка прокатится на “бициклете” (так ещё в то время называли двухколёсные машины) в сопровождении молодого человека? Ответы на эти вопросы подсказывают правила хорошего тона, которым в то время вслед за дворянством старались следовать и в других сословиях. С одной стороны, барышни должны были строго придерживаться такой нормы поведения:

“Молодым девушкам этикет не воспрещает принимать участие в увеселительных загородных прогулках, но они могут на них присутствовать не иначе, как в сопровождении матери или пожилой дамы, занимающей некоторое положение в обществе”.

С другой стороны, занятие спортом, в том числе велосипедным, составители кодекса поведения членов светского общества признавали не только допустимым, но и желательным:

“В число так называемых “светских удовольствий” следует включить и некоторые виды спорта, которые для многих представляют одно из любимейших развлечений. Особенным же фавором среди как нашего, так и западноевропейского общества пользуются два вида спорта: 1) конские скачки и бега и 2) всякого рода гонки на воде, как, например, гонки на гичках и полугич-

ках, на лыжах, парусные гонки и т. п. К двум упомянутым как любимейшим видам спорта следует ещё причислить и сильно развивающиеся за последнее время состязания велосипедистов, а также конькобежцев.

По нашему мнению, спорт, рассматриваемый как развлечение или как “светское удовольствие”, является в известное время настолько же необходимым, насколько и полезным. Присутствие на спорте приучает к светскому общению, научает узнавать характеры и показывает сердца людей в самые откровенные их моменты”.

Непосредственно участвовать в состязаниях молодые дамы и девицы могли в лодочных гонках, но только в качестве рулевых. Зато при победе экипажа именно им, а не мужчинам-гребцам вручали призы. Выходить на старт вместе с юношами барышни могли в двух видах спорта: в соревнованиях конькобежцев и велосипедных гонках. Правда, выступая на льду, дамы и девицы помнили, что они “обязательно должны избегать таких аллюров, как, например, двигаться назад и т. п.”

С конца XIX века Москва переживала настоящую “велосипедную эпидемию”. Правда, в самом городе поездки велосипедистов были запрещены из-за того, что “железных коней” боялись живые лошади, запряжённые в пролётки, и это приводило к ДТП. Настоящей вотчиной велосипедистов стал Петровский парк. Побродив по его дорожкам, корреспондент “Московского листка” нарисовал такую картину:

“Сотни, тысячи велосипедистов несутся из Москвы в парк, к Всехсвятскому. Отдохнув немного около станции велосипедных обществ, велосипедисты пускаются в обратный путь. Конечную целью их являются ресторанчики, где, бросив своих “стальных коней”, они обсуждают вопросы велосипедного спорта. Кавалеры, дамы в широких шароварах сидят за столиками и весело болтают, спорят о преимуществах одной системы велосипеда перед другой, доказывают необходимость свободного колеса и тут же проектируют дальние экскурсии.

– Однако, господа, пора двигаться! – говорит кто-нибудь.

– И в самом деле! А то темно будет!

– А фонари на что?

Зажигают фонари, и по потемневшей дорожке мелькают светляки”.

Обратим внимание на деталь, подмеченную журналистом: “дамы в широких шароварах”. Как мы помним, у благовоспитанной барышни Полины внутренний протест вызывал как сам факт пребывания дамы-велосипедистки наедине с мужчиной, так и её бесстыдство, заключавшееся в ношении почти мужской одежды. Героиню А. М. Пазухина оправдывают два обстоятельства: во-первых, она воспитывалась в патриархальной купеческой семье, а во-вторых, действие романа “Медовый месяц” происходит в конце XIX века, когда новые веяния ещё не проникли в недра торгового сословия.

Спортивный костюм, кроме удобства, должен был делать барышню максимально привлекательной в глазах мужчин. Купеческая дочь Поленька, осуждавшая женский спорт, шла к замужеству традиционным путём: жениха ей подобрали родители. Она это принимала как само собой разумеющееся, но многие из её современниц не прочь были самостоятельно обрести суженого. В условиях строгой регламентации поведения барышень, нахождения их под постоянным присмотром родных, для знакомства с молодым человеком возникало не так уж много возможностей. Наиболее доступными как раз и были катание на коньках и поездки на велосипедах. В юмористических журналах велосипед-тандем называли “ловушкой для женихов”: мол, летней порой покатается девица с кавалером, а осенью, глядишь, свадьба.

Популярным местом знакомств девушек с юношами были и катки, открывавшиеся в Москве зимой порой. Анастасия Цветаева, вспоминая гимназические годы, рассказала о своей судьбоносной встрече на льду Патриарших прудов:

“Мы катались, (...) когда на полном бегу возле нас зашипели, резко затормозив о лёд, лезвия норвежских коньков, и, смеясь и ещё как на бегу дыша, стал среди нас человек в тёмно-жёлтой меховой шапке. Она была надета чуть вбок, и из-под неё, ею стройно схваченные, светлели, как у Листа, подрезанные пышные волосы. Синие глаза сверкали веселым насмешливым, и, кончая на лету кому-то брошенную фразу, витиеватую, юмористически стилизованную, он поклонился одной из девушек, они взялись перекрёстно за руки, понеслись и скрылись из глаз...”

Что-то ослепительное, несомненное, никогда не виденное, пленительное, нужное было в этом подлётвшем и умчавшемся человеке. Всё остановилось. Важным было только его возвращение. Оно не замедлило. (...)

— Ася Цветаева! — сказала я, подавая руку.

— Бо́рис Т́рухачев! — так же быстро сказал он, и в два раза повторенном грассировании его имени и фамилии прозвучали стальные ноты. (...)

И мы мчимся и мчимся, и под музыку, и без музыки, я сбоку вижу его лицо, смеющееся, разгоревшееся, тёмную синеву глаз, соболиного цвета шапочку. Я совершенно счастлива! (...)

Весь остальной февраль мы каждый день встречались на катке с Борисом Сергеевичем — так церемонно я звала его, настолько старше меня он мне казался”.

Катки действовали, пока стояли морозы, но в 1910-е годы светская молодёжь стала и в тёплую погоду собираться во “Дворце спорта”, находившемся на Земляном Валу. В нём был устроен “скейтинг-ринг” для катаний на роликовых коньках.

В тот же период особенную популярность среди светских барышень приобрёл пришедший из Англии лаун-теннис. Отмечая быстрое распространение новой спортивной игры, А. Камильфо писал:

“И вряд ли, действительно, можно найти что-либо более приятное, как вид молодых девушек в красивых спортивных костюмах, грациозно двигающихся, словно летающих над жёлтым песком”.

По всей видимости, для молодых женщин привлекательность тенниса усиливалась тем, что производить приятное впечатление на зрителей следовало не только демонстрацией ловких движений, но и предназначенным для игры специальным нарядом: “весь костюм участвующей в игре девушка должна быть гармоничен, начиная со спортивной шапочки или соломенной шляпы с прямыми полями и кончая башмаками из матросского сукна с кожаными полосками на них и с каучуковыми подошвами, придающими лёгкость и упругость походке. *Платье для игры в теннис* должно не стеснять телодвижений и легко и свободно облегать фигуру. Тугие стоячие воротнички и узкие рукавички не пригодны при живой игре, так же как и длинные юбки, доказавшие свою непрактичность. Красивые полосатые или одноцветные спортивные платья из холста, фланели или альпака должны не заходить за лодыжки; особенно идут к молодым девушкам мягкие шёлковые шарфы”.

Кроме спортивных игр, к светским мероприятиям относились посещение театров, общественных гуляний, клубов, участие в балах, раутах, журфиксах (то есть приёмах гостей в домах по определённым дням недели) и вечеринках. Выражение “вступление в свет” означало момент, когда молодая девушка становилась полноправной участницей всех празднеств и других событиях светской жизни.

Правила хорошего тона точно не определяли возраст, когда девочка-подросток переходила в категорию барышни. Решение об этом принимала её мать, исходя из собственных соображений. Она учитывала как развитие девушки, так и успехи в подборе женихов её старших сестёр, поэтому вступление в светскую жизнь происходило в возрасте от 12 до 20 лет.

Если мать заранее готовила дочь к вхождению в светское общество, то девочку не держали всё время взаперти в её комнате. Во время приёма гостей, если её приглашали, она приходила в гостиную или вместе с родителями присутствовала на концертах. Она могла сопровождать мать, когда та оправлялась с визитами, правда при этом ей не дозволялось находиться среди взрослых. Пока они общались в гостиной, девочка проводила время в обществе дочерей хозяйки дома в их комнате.

Своего рода репетицией светских собраний для мальчиков и девочек были специально проводившиеся для них детские вечеринки и балы. Последние по своему характеру приближались к “взрослым” балам, поскольку, кроме подростков, в них принимали участие юноши и девушки. Тем самым молодёжь предоставляли официальную возможность для знакомства и общения.

Однако девиц, безоглядно бросающихся в вихрь удовольствий, составители сборника “Светский хороший тон” предупреждали:

“Для девушки, ещё в полудетском возрасте начинающей выезжать в свет и мечтающей только о танцах, пышных нарядах, любезностях и обожателях, прекращаются все умственные занятия, все более или менее истинные стрем-

ления к духовным совершенствованиям; она жаждет только удовольствий, ищет шумных развлечений и этим губит в самое короткое время лучшие свои способности, зародыши прекраснейших, благороднейших качеств”.

Так или иначе, но в жизни барышни обязательно наступал день, когда на неё переставали смотреть, как на ребёнка. О пересечении заветного рубежа баронесса Врангель писала:

“Наконец, приходит минута, когда нужно начать её вывозить, так как она достигла того возраста, которым необходимо воспользоваться, чтобы найти для неё приличную партию. Она попадает в вихрь света и торжеств, официальных, полуофициальных и совсем семейных. Отныне она присутствует на театральных представлениях, бывает на обедах, на раутах и балах; она делает визиты вместе с матерью и помогает ей принимать гостей у себя в доме.

Ничего нет прелестнее молодой девушки, первый раз появляющейся в свете, особенно если она очень молода.

Она очарована, в восторге от всего, что видит кругом, и сама очаровывает и приводит в восторг всех, кто её видит”.

Наряд для первого бала должен был, в первую очередь, символизировать девичью скромность: “совершенно белое платье, воздушное и просто сшитое. (...) Корсаж девушки скромно прикрыть сверху тюлевой бертой”.

Правила хорошего тона предписывали минимум украшений: дозволялось поместить в волосы бутон розы или хризантему, а вокруг талии повязать голубую или розовую ленту. Не рекомендовалось устраивать вычурную прическу в виде целой башни или использовать накладные волосы. Считалось, что девушке к лицу её природные косы или локоны. Из драгоценностей допускалась только нитка белого жемчуга.

Для девицы и её родителей, не обладавших вкусом, но привыкших выставлять богатство напоказ, была сделана специальная оговорка:

“Молодая девушка, выехавшая первый раз в свет в розовом платье, покрытом цветами и лентами, с руками и шеей, увешанными золотом, с поднятой головой и смелым взором, была бы явлением ненормальным”.

Если у девушки был отец, то именно он вводил дочь под руку в бальный зал или гостиную, где представлял её старым друзьям. К нему, в первую очередь, подходили представляться кавалеры, желавшие пригласить барышню на танец. По мнению баронессы Врангель, первое появление в обществе юной особы не могло остаться незамеченным:

“Редко случается, что молодая девушка не имеет успеха в вечер своего первого появления в свете, раз она прониклась вполне духом своей роли, то есть если она действительно обладает чистотой и свежестью юности”.

Дальнейшая судьба барышни на практике зависела от сочетания её привлекательности и финансовых возможностей родителей. Что же касается теории, то авторы пособий по светской жизни утверждали:

“Правильно воспитанная и хорошо образованная девушка вступает в жизнь со скромностью и достоинством, делающими её истинно привлекательной. Действуя самостоятельно, она не нуждается в похвалах общества; ей доступны высшие стремления, лучшие наслаждения, а от шумных увеселений света она всегда с радостью возвратится к домашней жизни, в круг дорогой ей семьи”.

То есть в идеале участие барышни в светской жизни – это только средство счастливо устроить свою судьбу. Напротив, для девиц, демонстрировавших лишь стремление к развлечениям, шансы выйти замуж были невелики:

“Известно, что в настоящее время, при нынешней дороговизне жизни и увлечении женщин светскими удовольствиями, брачная жизнь просто ужасает молодых людей, и они в большинстве случаев избегают брака.

– Как жениться, – говорят они, – когда жизнь так дорога, а жёны так расточительны и с такой неохотой берутся за домашнее хозяйство? Чем содержать семейство?

В конце концов, количество браков постоянно уменьшается”.

По этому поводу некоторые авторитеты в области светских правил предлагали, по примеру Франции, ввести такой принцип: молодая девушка должна выйти замуж в год своего первого появления в обществе. Максимум, что ей можно было позволить, – ещё один сезон, да и то если она ещё очень молода. В третий год барышню с неустроенной судьбой следовало отнести, условно говоря, ко второму сорту:

“Если же она и до начала третьего сезона не найдёт себе жениха, то на неё не обращают уже ровно никакого внимания, и ей приходится прибегать к помощи всех уловок кокетства, чтобы быть замеченной”.

Итак, с момента своего первого выезда барышня становилась полноправным членом светского общества, но её незамужнее положение накладывало на неё множество ограничений. Дома, на улице, в обществе ей приходилось держать себя в соответствии с правилами, специально установленными для молодых девушек.

Так, на прогулки барышня по-прежнему должна была выходить в сопровождении гувернантки или, как минимум, горничной и выбирать для этого “время раннее, то есть до обеда, когда гуляющих ещё мало, предполагая, что прогулка её имеет целью здоровье, а не удовольствие”. Одеваться ей полагалось в платье совершенно чистое и опрятное, но в то же время скромное, то есть не бросающееся в глаза; то же самое требование было и по отношению к наряду её спутницы. На прогулке девушке категорически запрещалось посещать места, где собиралась масса разношёрстной публики. Например, барышне вовсе не стоило присоединяться к зрителям, собравшимся на Тверском бульваре возле эстрады, где играл военный оркестр. Зачастую, когда звучала модная мелодия, толпа просто приходила в неистовство. Вот как это выглядело в 1910 году при исполнении польки “Ойра-ойра”:

“На Тверском бульваре несколько раз в неделю играет военный оркестр. Вероятно, в целях музыкально-воспитательных для развития эстетических вкусов толпы, оркестр включил в свой репертуар и “Ой-ру”. Нужно самому видеть, чтобы понять, что делается на бульваре во время исполнения этого великого произведения.

Тридцать здоровых солдатских глоток рявкают с эстрады:

– Ой-ра! Ой-ра!

И тысячная толпа в каком-то экстазе подхватывает звериным рёвом:

– Ой-ра! Ой-ра!

По окончании номера преисполненная восторгом толпа кричит. . . “Ура!” Не “браво”, не “бис”, а “ура”, потому что шаблонное “бис” недостаточно для изъяснения накопившегося в душе восторга. Под громовое “ура” капельмейстер поворачивается лицом к публике и трогательно прижимает руку к сердцу.

Толпа неистовствует:

– Ура! Урра-а! У-урра-а-а! . .

Грациозный взмах дирижёрской палочки и опять:

– Ой-ра! Ой-ра!

И вновь громовое “ура”. Повторяют пять-шесть раз.

После марша публика сплошной толпой валит с бульвара. Кто-то вскрикивает:

– Ой-ра!

И толпа подхватывает, как один человек:

– Ой-ра! Ой-ра!

Случайные прохожие испуганно шарахаются в сторону”.

Обходя десятой дорогой такие сборища, барышня должна была шествовать чинно. Ей не полагалось оборачиваться, чтобы рассмотреть кого-нибудь на улице. При встрече со знакомыми она приветствовала их в строгом соответствии с давно устоявшимися обычаями: “пожилым особам должна изящно поклониться, улыбаясь; приятельнице своей матери приветливо улыбнуться; если же встретившаяся особа просто принадлежит к числу светских знакомых, то достаточно одного поклона без улыбки”.

Если по каким-то причинам молодой девушке приходилось выйти из дома одной, ей также предписывалось одеваться максимально просто, а по улице идти быстрым шагом, не глядя по сторонам и не останавливаясь перед витринами магазинов.

При встрече с подругами барышня не должна была кидаться им на шею, демонстрируя тем свою дружбу, слишком громко разговаривать и смеяться. Как гласили правила хорошего тона:

“Неудержимый смех – признак дурного воспитания и допускается только в семейном кругу”.

Во время общения с подругами не приветствовалось употребление ласкательных имён, а также болтовня о своих семейных делах, так как это совершенно не касалось посторонних. Барышне полагалось находить другие способы показать свою искренность и честность в дружеских отношениях.

Не менее строги были правила поведения барышень на так называемых “гуляниях”, то есть при посещении общественных садов и парков, где для публики были устроены развлечения:

“На всякого рода гуляниях следует держать себя в высшей степени осторожно, помня, что здесь, как и вообще среди большого общества, нужно взвешивать каждое своё действие и каждое слово. Молодые девушки должны быть особенно осторожны и следить зорко за каждым своим шагом и манерой держать себя, потому что тут больше, чем где-либо, они подвергаются наблюдению посторонних лиц”.

Для барышни было абсолютно неприемлемым – “более, нежели неприлично”, – пойти одной в какой-нибудь общественный сад, сквер, на бульвар или куда-либо на гулянье, например, в Петровский парк, хотя там собиралась только приличная публика. Правила хорошего тона не оставляли ей выбора: “если идти не с кем, то не только лучше, но даже обязательно – остаться дома”.

Столь строгое требование объясняется реалиями того времени: в публичном месте юная особа, гулявшая в одиночестве, однозначно относилась к “жрицам любви”. Барышня, появившаяся одна на дорожках парка или бульвара, немедленно стала бы объектом назойливых приставаний со стороны мужчин.

В общественный сад или на гуляния девушки должны были отправляться в обществе матери или старших родственниц. Если барышня шла в компании – с подругами или кавалерами, – им полагалось идти впереди, но ни при каких обстоятельствах молодые девушки не могли отделяться от сопровождающих, а тем более удаляться от всех с одним кавалером. При прогулке только вдвоём девушка скромно шла по левую руку от своей спутницы.

Гуляющим, среди которых были барышни, приходилось решать сложную задачу, обусловленную правилами хорошего тона:

“Забираться во время гулянья в самые отдалённые и глухие места сада, равно как и выбирать самые людные места и быть у всех на виду одинаково не годится”.

Женщины старшего возраста, сопровождая барышень на прогулках, занимались не только надзором за поведением молодёжи. Попутно они объясняли и на личном примере показывали, как правильно выполнять правила этикета. Усвоение самых простых из них не требовало больших усилий:

“Не принято, чтобы на гуляниях или на музыке дамы, приветствуя своих знакомых, или отвечая на поклоны последних, вставали со своих мест; если приветствуют дам, то немного приподнимаются, мужчинам же кланяются с места – головой. Понятно, что при появлении особ царской фамилии и вообще лиц высокопоставленных обязательно делать исключение, то есть нужно кланяться, почтительно встав с места. (...)”

Лицо интеллигентное и благовоспитанное никогда не позволит себе сесть на гулянье или на музыке так, чтобы мешать проходящим или же занять место настолько близкое к другим, что весь разговор их станет слышен от слова до слова”.

Однако были и такие правила, выполнение которых требовало от молодой женщины не столько хорошего знания теории, сколько интуиции и жизненного опыта:

“Если проходящий мимо раскланивается и останавливается перед сидящей дамой, то последняя, конечно, имеет право заговорить с ним и даже пригласить его сесть на свободное подле неё место. Однако в последнем случае дамы должны быть очень осторожны, часто мужчина, ради одной только вежливости, принимает приглашение и садится на указанное ему место, но в душе он, быть может, очень недоволен тем, что его удержали, вследствие чего и разговор будет не оживлённым и не доставляющим удовольствия как той, так и другой стороне. Надо иметь много такта и проницательности, чтобы видеть заблаговременно, можно ли пригласить то или другое лицо, с которым мы желали бы провести в беседе время, не рискуя подвергнуть приглашаемого скуке и не ставя его в неприятное положение человека, который, таким образом, насильственно принуждён тратить время с нами, между тем как он, быть может, уже заранее predeterminedил провести это время совсем иначе”.

Что касается так называемых “народных гуляний” (например, гуляния на Масленицу на Девичьем поле, Вербный базар на Красной площади, гуляние 1 мая в Сокольниках), то их благовоспитанная молодая девушка могла посе-

щать только в экипаже. Если в её распоряжении не было этого транспортного средства, то об ином способе пребывания в гуще народа не стоило и мечтать. Запрет был обоснован тем, что, оказавшись среди простого люда, юная особа могла претерпеть как физический, так и моральный урон:

“Даже в сопровождении кавалера вмешиваться в толпу не всегда бывает безопасно. Не говоря уже о туалете, который среди народной давки может быть измят, испорчен и принять вполне неприличный вид, молодая девушка, отваживающаяся втискиваться в толпу, рискует потерпеть от массы неприятностей и даже подвергнуться обиде. Нужно помнить, что среди народных празднеств, сопровождаемых огромными сборищами, всегда можно ожидать всякого рода неприятных случайностей и даже несчастий”.

Для барышень существовали ограничения и при посещении ими родных и знакомых. Так, во время визита, пройдя в гостиную, девушка не должна была садиться в кресло или занимать другое лучшее место. На званых вечерах она могла быть оживлённой, весёлой, улыбающейся, но не выходя за рамки приличий. Ей не возбранялось одеваться, как тогда говорили, “кокетливо”, но её наряд не мог выглядеть вызывающе. По обычаям того времени, для дневных визитов полагался костюм тёмного цвета: платье, изящно обрисовывающее фигуру, а к нему – маленькая шляпка. Для приёма гостей у себя в доме девушкам рекомендовали платье цвета gris-perle – серо-жемчужное. Барышни не должны были краситься; единственное, что позволялось, – в вечернее время слегка припудрить лицо.

Относительно свободно юноши и девушки могли себя чувствовать на дружеских домашних собраниях, называемых “вечеринками”. На многолюдных светских мероприятиях, балах, раутах и подобных им больших вечерних собраниях поведение каждого участника регламентировалось множеством правил. При малейшем отступлении от них, например, по неопытности, молодые люди могли оказаться в неприятном положении. Для вечеринок также существовали правила этикета, но следовать им было гораздо проще. Знайки светской жизни специально это подчёркивали:

“Дружеские вечеринки требуют гораздо менее щеголеватости, чем многолюдные собрания, и лишь бы одежда ваша была опрятна, бельё безукоризненной белизны, обувь и перчатки приличного вида, остальным мелочи не составляют никакой необходимости, и никто из присутствующих не обратит внимания, что покрой вашего платья напоминает прошлогодние моды, перчатки не первой свежести и шляпе случалось быть под дождём. Здесь всякий является, чтобы провести время с друзьями, а не критиковать этих самых друзей, здесь безденежье не есть порок, и очень смешны люди, старающиеся скрывать этот недостаток, прибегая к посторонней помощи, как, например, отправляясь на чужой счёт в театр, напрашиваясь в товарищи к тому, кто приехал в своём экипаже, или занимая у приятельниц золотые модные серьги, когда всем известно, что вы не в состоянии купить их на собственные средства. (...)

На дружеских вечеринках позволительно перчатки заменять чёрными, прозрачными митенками, не мешающими ни работать, ни пить чай, ни играть на фортепиано”.

Сами эти вечерние собрания друзей и хороших знакомых делились на две категории: “чай” и, собственно говоря, “вечеринка”. Разница между ними заключалась в числе собравшихся и, соответственно, степени хлопот по их организации. “На чай” собиралось от 10 до 20 человек, и их приём, по утверждению современников, “...сопряжён сравнительно с небольшими издержками и хлопотами и почти нисколько не нарушает обычного порядка в доме, так как не требует никаких особенных приготовлений. Мебель, ковры и вообще вся обычная обстановка остаётся на месте. Разумеется, что в этот вечер усиливается освещение и соблюдается во всём чистота и порядок”.

При количестве гостей 25 и выше собрание считалось вечеринкой. Поскольку в обоих случаях суть мероприятия была в одном: весёлое и приятное проведение времени в кругу хороших знакомых, дальше мы будем использовать слово “вечеринка”.

В описываемую нами эпоху приглашение на вечеринку, сделанное в начале сезона, действовало на всём его протяжении. Зачастую эти домашние собрания из-за того, что они завершали собой приёмные дни, многие ещё называли их “журфиксами”.

Характер вечеринок, по мнению авторов сборника “Светская жизнь и этикет”, определяла особая атмосфера такого рода собраний, “где изгоняется церемонность и царит одно приличие, где все знают друг друга и где злословие редко находит пищу, потому что каждый думает о своём удовольствии, не заботясь о поступках других.

Вечеринки для каждого гостя, без различия пола и возраста, представляют приятный отдых после дневных трудов; здесь всякий забавляется по своему вкусу: кто умеет хорошо рассказывать, собирает вокруг себя слушателей, — каждый выражает своё мнение или горячо его отстаивает, завязывается разговор, остроумие и дар слова вступают в ожесточённую борьбу, а время летит незаметно и весело. Солидные люди любят засесть в карты, пожилые дамы (иногда с рукодельями) переливают из пустого в порожнее, в то время как молодые играют в четыре руки на рояле, танцуют вальс, польку, кадрили или мазурку или забавляются в так называемым *petis jeux* — общие игры, требующие развязности, находчивости и быстрого соображения...

Домашние игры не отличались сложностью в правилах. Главное, что требовалось от их участников, — не нарушать правила хорошего тона. Специалисты в области этикета прямо предупреждали:

“Остроумие играет большую роль в *petis jeux*, но оно никогда не должно переходить грани благоразумия и приличия, поэтому всякого сорта двусмысленности скабрезного характера не должны быть допускаемы. В особенности это должны помнить молодые девушки, которыми, прежде всего, всегда и во всём должна руководить скромность. (...)

Когда в какой-нибудь игре требуется писать остроумные ответы, старайтесь всегда составлять их так, чтобы каждая девушка или молодая женщина без смущения могла прочитать их вслух при всех гостях. Неприличные двусмысленности, как мы уже сказали выше, не должны иметь места, даже если девушка своим слишком смелым обхождением подаёт к тому повод, потому что, нанося ей, положим, даже вполне заслуженное ею оскорбление, гость в то же время в её лице оскорбляет хозяйку дома и всех присутствующих”.

Для барышень, решивших участвовать в домашних играх, следовало постороннее разъяснение того, как им следовало себя вести:

“Просим, однако, молодых девиц, не смешивать слово “скромность” со словом “жеманство”. Первое есть прекрасное качество в женщине и составляет её лучшее украшение, второе же есть ложное направление воспитания, смешное и безуспешное усилие казаться скромной.

К этому-то ошибочно понимаемому правилу (жеманству), к сожалению, иные девушки любят прибегать во время танцев или общественных игр и при каждом случае, где кавалер, опираясь на законы игры, хочет воспользоваться представляемыми ему правами, они ломаются, вскрикивают, отворачиваются и всё-таки выполняют, в конце концов, предписываемое игрой, никак не сознавая, что всеми этими кривляньями они привлекают к себе общее внимание, смех и неудовольствие”.

Вечеринки были тем хороши, что позволяли гостям вести себя естественно. Если юноши и девушки отличались красноречием, хорошо музицировали или пели, им дозволялось блеснуть во всю меру своих способностей. При отсутствии талантов или непреодолимой застенчивости, молодой человек или барышня имели полное право ограничиться ролью слушателей. Однако им не возбранялось вступать в общий разговор со своими дополнениями или разъяснениями подробностей. Они только были должны уметь доказать достоверность своего рассказа:

“Передавая какой-нибудь слух об отсутствующей, но всем известной в данном обществе особе, остерегайтесь называть, от кого вы слышали эту новость, в предупреждение неприятной сплетни. Впрочем, наш совет молодым людям обоего пола — никогда не торопиться передавать слухи о знакомых, а рассказывать только то, чему сами были свидетелями, если же случится, что вы передадите ложный слух, поднимающий иногда бурю в стакане воды, старайтесь вывернуться из этой маленькой беды шутками, обвиняя сами себя в неумышленном недоразумении, но никогда не употребляя для своей защиты имени той особы, которая передала вам ложное известие”.

На дружеских вечеринках барышни наравне со всеми гостями могли о чём-нибудь рассказывать, шутить и спорить. От них только требовалась, чтобы в разговоре они не сбивались со скромного, приличного тона, который,

по нравам того общества, “есть украшение всякой благовоспитанной женщины”. Девушке полагалось вести рассказ в сдержанно-весёлой манере, не повышая чрезмерно голос. Дурным тоном считалось, если она, без соответствующей реакции слушателей, смеялась над своей историей или передразнивала манеры и жесты лиц, о которых рассказывала.

При общении со сверстниками барышне дозволялось и вступать в споры: “Спорить также девица может только шутя, для возбуждения живости разговора, так как он весьма скоро бы прекращался, если бы все гости были постоянно одного мнения с рассказчиком, но самый этот спор должен всегда сопровождаться улыбкою, и очень смешны те молодые женщины, которые, опровергая какое-нибудь известие, позволяют себе горячиться, говорят громко, отрывисто, захлёбываются от явного желания убедить присутствующих в ложности слышанного, и в торопливости, не давая себе времени обдумывать свои слова, они нередко произносят резкие вещи, о которых впоследствии сами сожалеют”.

Кроме безусловного следования этикету, соблюдение этого правила благотворно влияло на внешность барышни:

“Если бы в эти минуты азарта такие девушки могли бы видеть себя в зеркале, мы уверены, что не только упал бы их геройский пыл, но и в будущем они сделались бы осторожнее, убеждаясь, как подобное напряжение мускулов безобразит самое хорошенькое лицо, изменяя даже его цвет, отнимая у кожи ту атласистую гладкость, которая есть одно из лучших преимуществ молодости”.

На дружеских вечеринках выбор увеселений входил в обязанность хозяйки дома. Она предлагала то или другое развлечение, а гости, проявляя учтивость, подчинялись, даже если не всем нравилось, например, принимать участие в играх. Впрочем, и от гостей требовалось проявить активность, если, скажем, собравшиеся решили устроить танцы. В данном случае этикет предписывал молодым людям, умевшим играть на фортепиано, сесть за инструмент, опередив барышень. В свою очередь девушки обязаны были их подменить, чтобы все могли повеселиться.

В отличие от балов, на вечеринках кавалеры могли танцевать со всеми барышнями без разбора. Хозяйка дома обычно вмешивалась, если замечала, что какая-нибудь девушка давно не танцует и заскучала. В таком случае она потихоньку просила хорошо ей знакомого молодого человека пригласить на танец девицу, оказавшуюся без кавалера. Даже если у юноши эта просьба не вызвала восторга, он был должен её выполнить, не показав и тени неудовольствия.

Угощение гостей на вечеринках происходило максимально просто: на стол перед диваном ставили десерт, и хозяйка приглашала всех лакомиться без церемоний. От неё не требовалось особо потчевать собравшихся, так как эта давняя московская традиция к началу XX века считалась проявлением дурного тона. Единственное, что предписывал хозяйке этикет, — она “не должна приказывать прислуге уносить поднос с десертом, пока гости не разойдутся”.

Гостям же было адресован один совет: подходя к столу с угощением, не забывать о приличиях:

“Само собою разумеется, что ни один благовоспитанный человек не станет во зло употреблять права брать лакомства и фрукты вольною рукою”.

Последнее, что требовалось участников вечеринки, — это продемонстрировать уважение и признательность хозяйке дома:

“Повторяем ещё раз, что как бы ни было приятно и весело вам в доме, в котором вы находитесь в качестве гостя, и как бы вы ни увлекались свойственною молодым людям весёлостью, не забывайте никогда, что хозяева имеют неотъемлемое право на ваше внимание предпочтительно перед всеми гостями и старайтесь в течение вечера найти хотя бы несколько минут, чтобы сказать им что-нибудь приятное и лестное”.

Итак, в дореволюционной Москве барышни могли учиться, если у них было такое желание; при определённых жизненных обстоятельствах — работать, чтобы добыть хлеб насущный; девушкам из семей, относившихся к “достаточным классам”, дозволялось просто вести светскую жизнь. Однако все они должны были в повседневной жизни соблюдать правила хорошего тона, даже если это ограничивало свободу их поведения. Таковы были господствовавшие тогда нормы морали, отступление от которых считалось открытым вызовом всему обществу.